



А. Драгомощенко

## ВЛАЖЕИСТВО И МНОГО НЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(несколько слов по поводу  
поэмы Е.Шварц "Хоррор Эротикус")

Как и всякий успешный, зимний сезон, на этот раз, думается, озадачит любителей изящной словесности не столько объемом созданной продукции, — количество написанного благополучно стабильно, во всяком случае, не меньше, чем в прошлом и позапрошлом году, — сколько ее своеобразием.

Казалось бы, чего сетовать, именно его взыскует утомленное бесконечными маршами натур-социальных куплетов, сознание получателя, полуслушателя, к нему стремится душа, осатаневшая в регулярном хаосе версификации. И впрямь, качество это занимает отнюдь не последнее место в скудном ряду понятий, коими принято определять ценность поэтического произведения на зимнем базаре толков и пересудов с непременной раздачей призов, степеней одаренности, распределения жалких квиточков — "что-б поближе куда-нибудь" — на перепerti отечественного словотворчества.

Разумеется, все это так, и выведенное яйцо по-прежнему, не рискуя разбиться, могло бы покоиться на хребте тени, отбрасываемой ослом, когда бы не своеобразие стихов, о которых речь пойдет ниже, нарушивших унылый ландшафт стихосложения, принуждая пишущего эти строки, признать, что мысль прочесть поэму "Хоррор Эротикус" еще и еще раз не так уж крамольна, как могла показаться поначалу, и это необходимо сделать во что бы то ни стало, отводя в сторону докучливо бушующие заросли разновидностей местного лавра; необходимо для того, чтобы не исчезнуть вовсе в студне восторженного хора любителей общих мест.

Отдавая им должное, почему бы не вспомнить, что все поэтессы, кроме тех, кто носил бороду и усы, подписываясь благозвучными девичьими именами, таили в недоступных уголках своего экзальтированного естества заветную мечту — не быть женщиной. Не обращаясь за доказательствами к истории литературы, заметим лишь, что подобный инверсионный фокус не удавался никому, за исключением Тирасия, да и то очень сомнительно. А поскольку поэтессы, вопреки желанию, остаются поэтессами и не превращаются в поэтов (не достигая даже промежуточного состояния), несмотря на ожидания просвещенной публики, — поскольку несбыточность терзает их вакхические души неразрешимой мукой, эти муки с общего согласия

принимаются как залог будущего сияния (полярного, духовного, гениального...) под который прощается очень многое, а еще более позволяется — под умирительный шепот выдавать безвкусную дребедень за "наития", "прозрения", "страдания",.. Чего стоят, к примеру, следующие философского содержания, но с какой простотой! сказанные строки:

Не разделить жизни  
И не найти защиты  
и не прочесть иероглиф (?)  
и своего лица.

И в представлении, и лениноголовых и... Как все же заразительно высокое искусство! В представлении лениноголовых почитателей, с незапамятных времен взявших в привычку не утруждать себя чтением, трудом чтения, полагая, видимо, отчасти справедливо, что иероглифа все равно не прочесть, и потому отдавших предпочтение сиюминутной потоке авторского пения, — о, даже ребенку понятна фабула развития дикой пьесы, разыгранной на подмостках начета века, в пещерный фарс нынешнего салона, — в представлении их поэта, да что там!.. любой поэт предстает эдакой туманной фигурой менады-доминанты, наделенной СВЫШЕ пресловутым мидасовским даром превращать ВСЕ в золото СЛОВА, ОТКРОВЕНИЯ, и не доминантой, а скорее всего барышней-рам-весталкой, которой подчас не отказать в умении рационально пользоваться достаточно скудным словарем в совокупности с двумя-тремя намеками касательно какой-нибудь сооруженной с грехом пополам тайной. Намеки, как водится, на манер воздушных поцелуев с балкона отсылаются критикам и биографам, обладающим так называемым чутьем и мифологическим мышлением, то есть, попросту говоря, неудачникам-поэтам.

Инстинкт, шепчут в кулуарах пожилые доброжелатели, наитие, талант.

Личность, констатируют никчемности с филологическим образованием.

Но согласитесь же, явление! — роняют рассеянно проезжие философы, —

Ничего не поделаешь....

А поклонницы с учебниками российской грамматики в холодеющих руках, ничего не говорят, упрямо стоя на позициях эманципации в некрасивых платьях.

Но случается, что и расчет, и намек, и интуиция, и искра божья не совпадают, — что-то происходит в доселе отлаженном безошибочном механизме, и тогда начинается прямо-таки Ходыньское поле.

Римская бижутерия, с легкой руки Бродского х) эсевшая в словарях более молодого поколения, все эти гладиаторы, бассейны, шпильки, форумы, центурионы, эпистолы, все эти бирюльки, долженствующие якобы придавать значительность заурядному комнатному неврозу, смешанные в душевном порыве с ветхозаветными аксессуарами и обрамленные локонами полупризнаний-полупророчеств — весь этот сугубо поэтический материал отказывается служить, выходит из подчинения, паясничает и гримасничает. И тогда, словно тяжелая артиллерия срочным порядком вводится так называемая беспроегрешная тема.

Беспроегрешные темы, что и говорить, палят за здорово живешь! А после, когда дым рассеивается, увы, мы становимся свидетелями натюрморта после битвы, о котором поистине можно сказать словами поэмы: "пахнет чужими вещами, настойкой разлитой и Кентом". хх)

Да, кентами пахнет изрядно. Но упаси Господь от таких кентов, что позволяют себе "показывать цветок плоти с двумя (уж эта мне анатомическая подробность) несорванными лепестками. Нет, все же грубость кентов с лихвой искупается этими нежными лепестками... неважно, что спустя несколько времени эти же лепестки станут автоматом, совершенно уже волшебным образом прилаженным к паху (чьему?). Если уж говорить, так до конца.

Но, возможно, воспитанникам несложной Петербургской традиции этот приемчик "от обратного" придется по сердцу, а может быть, действительно, подобно тому, как в известном

---

х) Впрочем, "римская мечта" стала известной русской словесности задолго до 60-х годов 20 века.

хх) Рокуэлом Кентом? Сигаретами? Или кентом, что значит приятелем (жарг).

анекдоте о двух приятелях на вокзале, мы за беспощадным отчетом о низкой греховности, за уничтожением обязаны узреть залежи чудовищной духовности, бездны духа? Как бы там ни было, комиссионный магазин останется комиссионным магазином, даже если на него повесить фальшивую вывеску "Древности и прочие колониальные товары."

Однако, обратимся к собственно повествованию, поименованному автором поэмой. Я намеренно подчеркиваю повествование, так как на протяжении нескольких машинописных страниц поспешного текста, усеянного псевдоразговорными "же", озвученного удачными флексиями глаголов возвратных форм, не взирая на педалированный лиризм, можно углядеть, скажем, некий сюжет: кокетливо отставя пальчик, лирическое Я автора, сообщив доверительно, что в "темноте ночей любовных расцветают яблоны и гру... простите, души, как фиалки", прибегает затем к ряду событий, должных проиллюстрировать положение о роковой темнице плоти, греховной, разумеется, и заодно — чего ужикать скаредничать! — для вящей убедительности пальпируя неизбежное "бытие к смерти". Все кошмары плотского, не-духовного существования завершаются выписанной в духе хохломы мольбой об Ангеле-друге, о таком маленьком, знаете, ангелочке-эльфе с "паучьими ножками".

Итак, первый рисунок, своего рода несовершенная карта обретает очертания, благодарный слушатель наконец, понимает, что для него, помимо восторгов поэтической игры, открываются философские слои поэмы, заключенные примерно в следующем: блаженство серафическое коренным образом разнится от блаженства животного и вместе они, стало быть, не пойдут в одной упряжке, подобно трепетной лани и коню. Но прежде чем с пониманием дела вкусить блаженства от средств, коими создана эта впечатляющая картина душевной муки, опуская красоты и обилие всяческих реминисценций, оставив в покое "сатанинские насмешки", "кудрявые тучи", "змеиную нежную силу", непрямого "распятого человека" (а как же — теперь и школьник, студент, любой пэтушник считают своим долгом вворачивать в вирши "распятого человека") — заметим только, что обращение к повествованию поэтическому, способу чрезвычайно сложному, заключающему в себе неточность поэтического пред-

видения со скрупулезным анализом процесса созидания его, предвидения, ограничивается зачастую обращением к конкретному личностному опыту, какому бы там ни было — духовному, философскому, социальному, религиозному, сексуальному, а в случае отсутствия такового — к апробированным устойчивым его формам-клише, иначе говоря к громоздкому багажу, довлеющему законам отнюдь не поэтической организации. Однако мнимая беструдность трансформации обыденной вещи, сознания ее в стихотворение столь искусительна! Так прельщает, неминуемо, как положено любому прельщению, приводя к краху.

Вероятно, не последнюю роль в этом случае играет оскудение вещных понятийных ресурсов, оголение речи функциональностью при постоянно раздраженной чувственной готовности, впоследствии приводящей, бесспорно, к заурядному рабству и попыткам избыть его, возводя профаническое авторское Я, страдающее, мнущееся, сомневающееся, ликующего до уровня основного элемента, основополагающей оси безжизненных орнаментов риторики. "Каким бы гутаперчивым голосом ни читать стихи, — говорил Мандельштам, — плохие стихи остаются плохими." Что можно понять и так: сколько бы крови ни проливал поэт, орошая бесплодные пашни языка, — кровь останется кровью словом (и прекрасно!), а "содрагание чресел" ни во что не выливаются, кроме как в дикий страх (позволительно и наоборот), оттененный беспомощной ироничностью: "дети ваши все догадки не так страшны, так же гадки". Тут ограничимся немимым вопросом — только уж детские догадки?..

Всего вдоволь в этой небольшой поэме, просто — *embarras du richesse*. Есть и сентенции, есть и вопросы, и синтаксические вольности в частушечных ладах, сладострастные картины, пропитанные не столько "соком смерти", как хотелось бы автору, а скукой детских санаториев. Есть также сон, без снов никак. Сон, напоминающий апофеоз польского кинематографа пятидесятых годов, с обязательной церковью, Мадонной (исследователь, в этой описке, ошибке "церковь — Мадонна" тебе может быть что-то станет ясно...), черной дырой во лбу Мадонны, алтарем... все те же бирюльки.

Когда это прекратится? Плохое, смутное время, время беспардонного хвастовства, вранья, торговли.

А чего стоит этот алый трамвай? Трудно найти маршрут ленинградского стихосложения, по которому не раскатывал бы этот самый трамвай, являя собой общность интересов множества поэтов.

Голос, голос, голос. Я бесконечно слушаю поэзию, я мало или почти совсем не читаю ее. То, что предлагается моим глазам, не что иное, как запись пения, вялая, ничего не говорящая запись мелодекламации, пестрящая длиннотами, вызывающая тошноту плоской патетикой, неумелыми попытками сообразовать свою художественную логику с языком, попытками обременяющими его, истощающими его неизменным обращением к стереотипным блокам — и впрямь, чем отличается суждение: "так похожа страсть на убийство" от "развернем широкий фронт работ"? — дотошная стенограмма, продолжаю я, постоянного настоящего, не имеющего и не могущего иметь памяти, рассчитанная на мгновенный триумф и рукоплескания.

ooo